

Оглавление

| | |
|--------------|-----|
| Пролог..... | 7 |
| Глава 1..... | 8 |
| Глава 2..... | 34 |
| Глава 3..... | 74 |
| Глава 4..... | 116 |
| Глава 5..... | 158 |
| Глава 6..... | 199 |
| Эпилог..... | 235 |
| Сноски..... | 238 |

*Когда устаю, — начинаю жалеть я
О том, что рожден и живу в лихолетье,
Что годы растрочены на постиженье
Того, что должно быть понятно с рожденья.
А если б со мной не случилось такое,
Я смог бы, наверно, постигнуть другое, —
Что более вечно и более ценно,
Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.*

Н. КОРЖАВИН

*Но, как известно, именно в минуту отчаянья
и начинает дуть попутный ветер.*

И. БРОДСКИЙ

Пролог

Резко свернув за угол, Костя нырнул в арку. Человек в сером пальто миновал арку, не останавливаясь. Костя немного подождал и вышел обратно, на главную улицу. Из-за старого дерева на другой стороне снова показалось серое пальто. Сомнений не оставалось — человек следил за ним, следил в открытую, не таясь.

Впервые Костя заметил его неделю назад, по дороге из школы домой. Человек в сером пальто сидел на лавочке в Ломоносовском сквере и читал газету. Костя прошел мимо, к мосту, но что-то во внешности человека удивило его, он остановился и оглянулся. Человек убрал газету и смотрел на Костю с таким же интересом, с каким Костя рассматривал его. Смутившись, Костя отвернулся и зашагал дальше. Перейдя мост, он оглянулся еще раз: странного незнакомца в сквере не было. Неделю Костя его не видел и почти забыл о нем. Сегодня человек объявился опять и вот уже четыре квартала следовал за Костей, не прячась, но и не приближаясь.

Пройдя еще квартал, Костя снова свернул в переулок и спрятался в арку. Переждав минут пять, он выглянул наружу и огляделся по сторонам. Серое пальто исчезло. Он вернулся из переулочка на улицу — никого не было. Постояв еще пару минут, Костя отправился домой. Родителям он решил ничего не рассказывать. Пусть это будет его и только его приключение.

Глава 1

1

Если дверь в отцовский кабинет не распахнута, а только полуоткрыта, то можно снять ботинки у порога, пройти по коридору на цыпочках и проскользнуть в свою комнату незаметно. Дальше становилось проще: и кухня, и ванная были в глубине коридора, и если не шуметь, не ронять отцовский велосипед, что падал с оглушительным грохотом, перегораживая проход, если не задевать подвешенные на стене медные тазы для варенья, что протяжно вздыхали от малейшего прикосновения, не налетать на морской сундук, о железные уголки которого мама постоянно рвала чулки, а Костя царапал коленки, то можно было жить в квартире до самого вечера, не встречаясь с отцом.

Отец был размерен и точен, как старинный брегет, что он носил в кармане жилета. Иногда Косте казалось, что эти часы и есть отец и, когда они перестанут тикать, отца не станет. На часы отец бросал последний взгляд перед тем, как заснуть, и первый, едва открывал глаза, на них посматривал во время любого, пусть и самого короткого разговора, словно считал минуты, секунды даже, что вынужден тратить на помехи, на отвлечение от главного, единственно важного — от работы. Поэтому, пробираясь тайком по коридору, Костя не чувство-

вал особых угрызений совести — отец был занят серьезным делом, куда более серьезным, чем выяснять, почему у сына четверка по физике или замечание в дневнике.

Иногда Косте хотелось спрятать часы и посмотреть, что отец будет делать. Он представлял, как отец ходит по квартире, беспомощно щуря близорукие глаза, заглядывает под стол, под шкаф, под большую кровать с балдахином в родительской спальне, потом садится в глубокое кожаное кресло в кабинете и спрашивает размеренным негромким голосом человека, привыкшего, что его слушают всегда и внимательно: «Хотелось бы все-таки понять — где же мои часы?»

«Хотелось бы все-таки понять» было любимым отцовским выражением. Понять ему хотелось многое: и как устроен мир, и как работает домовый комитет, и почему матери всегда не хватает денег, и отчего у Кости есть четверки в таблице.

Все, что ему хотелось понять про мать и Костю, он обычно выяснял за вечерним чаем. Ровно в восемь он выходил из кабинета, потягивался, шел на кухню, где уже суетилась мать, и говорил всегда одну и ту же фразу, Костя про себя называл ее вечерней молитвой: «Вечер добрый, голубушка. Я бы не отказался от стакана крепкого чаю. С каплей коньяка, если позволишь, адмиральский час пробил».

Мать улыбалась, прекрасно понимая, что ни ее позволения, ни даже ее согласия не требовалось, доставала из шкафа длинную прозрачную бутылку, ставила на стол рядом с тончайшего стекла стаканом в красивом серебряном подстаканнике. В стакане, в кирпично-красной густоте, желтой лодочкой плавала долька лимона, обязательно долька, а не кружок. Отец делал первый бесшумный глоток — удостовериться, что чай достаточно крепок и горяч, отвинчивал пробку на бутылке,

наливал ложечку темно-коричневой с золотистым отливом влаги, медленно, священнодействуя, опускал ее в чай, помещивал, потом так же медленно, давая каплям стечь в стакан, вынимал ложечку, делал еще один глоток, откидывался на спинку стула и спрашивал Костю: «Ну-с, чем мы можем сегодня похвастаться, молодой человек?»

В прошлом году, когда Костя болел корью и три дня лежал в темной комнате не выходя, он подсчитал от скуки: если отец начал задавать этот вопрос десять лет назад, когда Косте исполнилось пять, то он задал его уже 3563 раза. Можно было привыкнуть, но Костя так и не привык и подходящего, всегда годного ответа не нашел.

Третий день шестидневки был Костин любимый день: по третьим дням отец ездил в институт на семинары, и можно было приглашать домой друзей, не есть обед из трех блюд и не разговаривать шепотом. По третьим дням он влетал в квартиру, беззаботно-громко хлопая дверью, швырял на пол сумку и бежал в кухню, на ходу сбрасывая ботинки. Если мать была дома, она выходила из комнаты и тоже шла на кухню, они ели обед не как положено, а как попало, закусывали компот холодными котлетами, а суп — свежей французской булкой, недавно переименованной в городскую, и болтали обо всем на свете. Только об отце они никогда не говорили — слишком это было больно и трудно. После обеда, наскоро сполоснув тарелки, мать вела Костю в свою комнату, показывала сделанное за неделю.

Когда ее публично называли художником, мать смущалась и краснела, но наедине с Костей она расслаблялась, раскладывала на столе работы, терпеливо ждала, пока он разглядывал

крошечные филигранные пейзажи и натюрморты, потом спрашивала: «Ну?» — и видно было, как ждет она Костиной оценки, как важна ей эта оценка.

Иногда они рисовали вдвоем, мать за столом, Костя у мольберта, иногда Костя просто сидел и смотрел, как рисует мать, поражался отточенности, абсолютной выверенности ее движений, лаконичности крошечных мазков — на маленьком, с Костину ладонь, куске картона или пергамента она умела разместить такое количество людей, зверей, цветов и птиц, прорисованных с такой хирургической тщательностью, что Костя иногда думал, что в ее очки вмонтирован микроскоп.

Мать была близорука, но очки надевала, только когда рисовала, утверждая с улыбкой, что в очках мир делается слишком точен и не остается места для фантазии.

Фантазировать она любила и умела: в нижнем ящике Костиного письменного стола лежали двенадцать крошечных самодельных книг про приключения жеребенка Котильона, матерью сочиненные и ею же проиллюстрированные так ярко и весело, что лет до восьми это были любимые Костины книжки. Котильон рос вместе с Костей, учился бегать и прыгать, удирал из конюшни, путешествовал по усадьбе, ходил в ночное, его готовили к скачкам, потому что его отец был чемпионом и все ждали, что Котильон станет чемпионом тоже. Мама иногда называла Костю Котильоном, и жеребенок ощущался как названный брат, тот брат, иметь которого всегда хотелось, но которого не было.

Раньше книжки стояли на полке над кроватью, потом Костя убрал их в стол: ему казалось, что приходящие в гости одноклассники обращаются с книжками чересчур небрежно.

Отец их любви к рисованию не одобрял, хотя никогда не говорил об этом вслух. Эта странная скрытая нелюбовь занимала Костю так сильно, что он набрался смелости и как-то спросил отца: почему?

— Видишь ли, Константин, — медленно сказал отец, всегда звавший Костю только полным именем, — я считаю, что человек должен заниматься тем, что получается у него лучше всего. Так он может максимально реализовать себя и внести наибольший общественный вклад.

— А что у мамы получается лучше всего? — спросил Костя.

— Твоя мама и по характеру, и по темпераменту очень домашний человек. Любить своих близких, заботиться о них — ее истинное призвание.

— А если она будет рисовать, разве от этого она станет меньше нас любить?

Отец поморщился, но его собственное железное правило, неоднократно повторяемое, утверждало, что на каждый Костин вопрос должен быть дан честный ответ.

— Когда человек начинает что-то делать и ему кажется, что у него получается, то ему хочется продолжения, большего, лучшего. Сначала человек рисует, поет, пишет для себя, потом для друзей, потом ему хочется на сцену или на выставку.

— И что в этом плохого?

— От такого дилетантизма страдает главное дело его жизни. То, которое лучше всего получается. То, на котором должны быть сосредоточены все его душевные силы.

— Но ведь необязательно на выставку, можно так всегда — для себя.

— Представь, что я буду заниматься физикой для себя. Сидеть и писать в тетрадки свои теории, обсуждать их сам

с собой или с друзьями. Согласись, это смешно. Так почему же в других областях не смешно? Только потому, мой милый, что там более размытые критерии профессионализма.

Костя промолчал, отец постоял еще немного и вернулся в кабинет, явно довольный тем, что нашел убедительный аргумент. Но рисовать Костя не перестал, просто никогда больше не делал этого при отце.

Матери его рисунки нравились, она собирала их в отдельную папку, на которую приклеила одну из своих миниатюр: большую красную букву «К», всю в затейливых завитушках, арабесках, орнаментах, на светлом, почти белом фоне.

— Что ты будешь с ними делать? — спросил Костя.

— Отдам тебе. Когда тебе будет лет сорок, посмотреть на них будет очень любопытно.

— Даже если не стану художником?

— Ты уже художник, — сказала мать. — Каждый, кто рисует, — художник. Это не про умение, это про желание.

— А папа говорит, что все, что делаешь, надо делать хорошо.

— Ну конечно. Надо делать хорошо, надо учиться, надо, как говорит твой папа, совершенствоваться. Но подумай, вот самый первый человек, тот, который нарисовал мамонта на стене своей пещеры, плохо нарисовал, почти не похоже, сегодня даже дети рисуют лучше, — ведь если бы он его не нарисовал, если бы никто тогда его не нарисовал или нарисовал и стер, потому что получилось непохоже... ведь тогда ничего бы не было, правда?

— Правда, — улыбаясь, сказал Костя.

Ему нравилось, когда мать вдруг заводилась от какого-нибудь пустяка, начинала говорить долго и страстно, делаясь

сразу красивей и моложе, совсем молодой. Было очень просто представить ее одноклассницей, соседкой по парте, знакомой девчонкой. Такой, как Ася.

2

Ася была сестра. Не по рождению — по жизни. Сколько Костя помнил себя, столько он помнил и Асю. Отец ее работал вместе с Костиным отцом, а мать, Анна Ивановна, была давней подругой Костиной мамы. Дружили даже их няни, вместе гуляли в Некрасовском саду в те давние времена, когда он еще звался Греческим.

В «группу» к француженке они тоже ходили вместе. Француженку звали Екатерина Владимировна, но детство она провела в Париже, где ее отец был чрезвычайным посланником. Загадочные слова «чрезвычайный посланник» долго будоражили Костино воображение, и, когда мать объяснила ему, что это всего лишь помощник посла, он даже слегка расстроился.

Муж Екатерины Владимировны, известный инженер, участвовал в разработке плана ГОЭЛРО¹, руководил строительством электростанций, за что ему и семье простили неправильное происхождение и дворянские изысканные манеры. Костя его никогда не видел: в большой трехкомнатной квартире француженки детей пускали только в одну комнату и на кухню.

На кухне, раздавая им тарелки с аппетитным бульоном, в котором между золотых кругляшей жира плавали осенними листьями стружки моркови, Екатерина Владимировна всегда повторяла, вздыхая: «Цивилизованные люди не едят

там, где готовят пищу». К бульону прилагались крохотные румяные пирожки, которые нельзя было называть пирожками, а нужно было — профитролями. Когда Асе хотелось вредничать, она вставала, делала книксен и говорила ангельским голоском: «Мадам, так жрать хочется, нельзя ли еще пирожка?» Скандализованная мадам немедленно выставляла ее из кухни в коридор — подумать, как следует разговаривать воспитанной девочке. В коридоре густо висели на стенах портреты декольтированных дам в высоких прическах и усатых мужчин в парадных мундирах, и Ася рассматривала их долго и внимательно, изучала каждую пуговку на рукаве и каждую складку жабо.

Без Аси становилось скучно, и Костя тут же начинал думать, что бы такое сделать или сказать, чтобы его тоже выставили. Но смелости у него хватало редко. Кроме Кости с Асей в группе было еще четыре человека, два мальчика и две девочки, — правило это Екатерина Владимировна соблюдала неукоснительно: мальчиков и девочек в группе всегда было поровну, может, потому, что кроме французского она учила их еще и танцевать: вальс, мазурку, полонез. Костя всегда вставал в пару с Асей, и получалось у них лучше всех. Еще в группе учили читать, писать, рисовать, гуляли в Таврическом саду, собирали гербарии и рисовали птиц и котов. На Новый год Екатерина Владимировна тайком ставила елку и устраивала спектакли: то по басням Крылова, то по «Синей птице», то по сказкам Пушкина. Современной детской литературы она не признавала. Когда Костина мать принесла ей Чуковского «Айболита», Екатерина Владимировна долго разглядывала обложку, потом надела пенсне, всегда висевшее у нее на шее на тонком шелковом шнурке, пролистнула две

страницы и вернула книжку матери, сказав голосом ядовитым и извиняющимся одновременно:

— Стара я, сударыня, для такой литературы, уж не обес-судьте.

В группу Костя проходил три года, а потом отец решил, что пора идти в школу. Мать попробовала возразить, отец сказал:

— А мы сейчас спросим виновника сомнений, — поманил Костю пальцем и спросил: — Ты куда больше хочешь, Константин, в группу или в школу?

— В школу! — крикнул Костя.

В школу ходили все мальчишки со двора, там учились по проектам, там были октябрюта, пионерский отряд и ученический комитет, учителей в школе называли смешными кличками, не было никаких поклонов, бульонов и салфеток за воротник. Школа казалась самым интересным местом на свете.

— Ну вот видишь, голубушка, — усмехнулся отец, и вопрос был решен.

Ася без Кости ходить в группу отказалась, но отдали их в разные школы. Костю — в третий класс в бывшую знаменитую гимназию, которая хоть и называлась теперь единой трудовой советской школой, от гимназического духа до конца не избавилась. В старых шкафах темного дерева еще стояли глобусы с ятями и лежали пирамидкой гирьки на фунты и золотники², а на тарелках в столовой можно было различить голубую тень гимназического герба. Среди учителей тоже легко вычислялись прежние, дореволюционные — по походке, по осанке, а особенно по интонации, по манере говорить. Многие все еще обращались к учени-

кам на «вы», требовали, чтобы ученики вставали, когда они входят в класс, и учком обсуждал каждый год, правильно это или неправильно, разрешать или не разрешать. Вечерами, шагая по длинному, гулкому паркетному коридору вдоль высоких стрельчатых окон, вполне можно было вообразить себя гимназистом в гимнастерке с широким ремнем и в щегольски промятой внутрь фуражке, в точности как рассказывал отец, любивший вспоминать гимназическую молодость. Школа Косте нравилась, несмотря на строгости и полчаса пути; за шесть лет учебы он не пожалел ни разу, что отец отправил его именно туда.

Асю же отдали в ближайшую к дому школу, Анна Ивановна сказала с улыбкой:

— Аська у нас дурочка, все поет да рисует, на другое у нее головы нет. Ей без разницы, какая школа.

— Аня! — воскликнула Костина мама. — Как ты можешь!

— Как я могу что? Говорить правду? Ты предпочитаешь, чтобы я дурила ей голову модными сказками о всеобщем равенстве?

Мать вздохнула и отправила Костю с Асей в детскую. Ася ушла неохотно, она любила слушать взрослые разговоры, а Костя обрадовался — Анну Ивановну он не любил, было что-то унижительное, почти стыдное в ее манере брать его за подбородок при каждой встрече, задирать ему вверх голову и повторять с усмешкой: «На чью-то беду растешь, ох на чью-то беду».

Разговор о школах Костя запомнил и вспоминал его часто. Ася совсем не казалась ему глупой, хотя училась плохо, из класса в класс переползала с трудом, большей частью из-за рассеянности: она постоянно все забывала и путала. Учителя ее

не любили, и Костя мог понять почему: в ней не было ни страха перед школой, ни любви к ней, ни уважения, лишь спокойное равнодушие, с каким терпят неизбежные мелкие неприятности. При этом читала Ася не меньше Кости, знала даже больше, хотя знания ее были странные, непривычные, ненужные.

— Знаешь, кто такие вестипликарии? — спрашивала она Костю. — Это профессиональные укладчики тоги, рабы, которые укладывали тоги на патрициях красивыми складками.

Костя пожимал плечами, она вздыхала, делала следующую попытку:

— А что такое тога кандида, знаешь? Это тога, которую специально мелом отбеливали, в такой тоге ходили наниматься на должности всякие, вроде как на работу устраиваться. В Древнем Риме.

Костя смеялся, она сердилась:

— Зря смеешься. Между прочим, все твои кандидаты во всякие депутаты оттуда пошли, от тога кандида.

— Почему это они мои? Они всенародные.

— А кто перед выборами по домам ходил, списки сверял?

— Так это ж комсомольское поручение.

— Я, например, не в комсомоле.

— Это потому, что ты отсталая и темная.

— Нет, просто я независимая.

— А я, значит, зависимый? — рассердился Костя.

— Ну тебе же хочется быть как все, — сказала Ася. — А мне не хочется.

— Тебе хочется не быть как все, — буркнул Костя. — Это то же самое, просто с другой стороны.

— Ого! — насмешливо протянула она. — Ты начал думать, Конс, поздравляю.

Сколько бы они ни пререкались, как бы ни смеялись друг над другом, как бы ни вредничали, Ася была сестра, и казалось, что давнюю эту дружбу уже невозможно отменить, как невозможно отменить кровное родство. Вместе встречали праздники, вместе отдыхали, снимая на две семьи одну дачу в Юкках, вместе ходили в кино и на каток. Новый год они тоже всегда встречали вместе, и именно в Новый год впервые поссорились.

Мать решила поставить елку. Елки разрешили еще два года назад, но отец поосторожничал, ставить не велел. В прошлом, 1937-м, мать болела, лежала в жару весь декабрь, поднялась только в середине января. Нынче, словно чувствуя себя виноватой в том, что год назад все остались без праздника, она сама сходила на новогодний базар, выбрала густое красивое деревце, сама привезла его через полгорода на Костиных старых санках, сама наделала игрушек из папье-маше, так щедро, с такой любовью украсив елку, что даже отец, несклонный к публичным восторгам, не то чтобы ахнул, но как-то особенно громко выдохнул, войдя в столовую.

Болотины, как всегда, пришли втроем: Борис Иосифович, Анна Ивановна и Ася. Борис Иосифович галантно поцеловал матери руку, объявил, что целует чистое золото и нет такого чуда, которое вот эти нежные ручки сотворить бы не могли, и удалился с отцом в кабинет, пить для аппетита коньяк и говорить о работе. Анна Ивановна обошла елку три раза, сказала:

— Удивляюсь тебе, Татка, как только ты...

— Новое платье! — быстро перебила мать. — Хочешь, я покажу тебе мое новое платье? Для дома оно слишком нарядное, я не надела.

Она утащила Анну Ивановну в спальню, Костя с Асей остались в гостиной одни. Ася потрогала елку, понюхала ветку, сказала:

— Дурацкий обычай! Сколько деревьев зря губят.

— Почему зря? — возразил Костя, обидевшись за мать. — Ради праздника.

— Можно праздновать без елки. Раньше без елки праздновали — и что, плохо было?

— Плохо.

— Ты споришь, чтобы спорить, Конс. В глубине души ты со мной согласен. Это пережиток, варварство, диверсия против природы. Ты подумай, на один Ленинград ушел целый лес. А на всю страну?

— Почему ты всегда портишь праздник? — спросил Костя. — Почему нельзя просто радоваться? На Первое мая ты говорила, что рабы празднуют свое рабство, День Конституции обозвала праздником, которого нет. Даже к юбилею Пушкина цеплялась. Вот услышит тебя кто не надо, и тебе всыплют, и родителей загребут, привлекут за неправильное воспитание.

— Уж не ты ли будешь этот кто не надо? — иронически подняв бровь, поинтересовалась Ася.

— Что за чушь! — возмутился Костя.

— Ну почему же, — легким светским тоном сказала она, — ты же правильный, а правильные должны проявлять бдительность и эту, как ее, принципиальность. Товарищ Сталин сказал, что каждый гражданин обязан сообщать, выводить врагов на чистую воду.

Костя обиделся всерьез, весь вечер просидел надутый и две недели с Асей не разговаривал, даже пропустил — впервые в жизни! — две среды.

Календарь в стране менялся, разноцветные плавающие пятidineвкки сменялись пятidineвкками фиксированными, потом шестidineвкками. Вне дома так они и жили: первый день шестidineвкки, второй, третий. А дома и у Аси, и у Кости понедельники оставались понедельниками, а среды — средами. По средам они играли в солдатиков.

В детстве, незапамятно давно, это были просто солдатикки, обычное оловянное войско, слегка разбавленное отцовским наследством: раскрашенными немецкими драгунами и гусарами. Солдатикки строили редуты из картона, стреляли друг в друга горошинами сквозь бумажные трубочки, а потом кончалось сражение, из набитой ватой коробки извлекались Асины фарфоровые куколки и начинался бал. С годами игра становилась сложнее, редуты и пушки конструировались в точном соответствии с описанием, а платья для принцесс и пастушек — в соответствии с исторической модой. Теперь уже и Костя знал, что такое фижмы и букли, а Ася понимала, чем мушкет отличается от мушкетона. И сражения теперь устраивались не простые, а исторические, к которым они долго готовились, ходили в читальный зал, рассматривали картинки в старинных толстых фолиантах. Пока Костя копировал в специальную военную тетрадь схему расположения войск, Ася разглядывала рукавички и оборки, срисовывала фасоны платьев и узоры вышивки.

Никого другого они в свои игры не допускали, закрывались в комнате, обычно у Аси — у нее и комната была побольше и осветлей, и родители поспокойней.

Анну Ивановну интересовал только экстерьер, как Ася это называла, а Борис Иосифович, как и отец, всегда был занят.

Друзей тоже не приглашали — Костя боялся насмешек, у Аси просто не было потребности, хотя подруг у нее хватало и дружбы ее искали многие.

— Я все знаю про моду, — объяснила она ему, — и у меня хороший вкус. Я вообще про одежду знаю все. Как римляне одевались, или греки, или французы. Вот для чего на рукавах пуговицы, знаешь? А стрелки на брюках откуда взялись? Или санкюлоты, например, это что такое?

— У них шапки были, — неуверенно сказал Костя. — Фригийские колпаки.

— Сам ты колпак. Кюлоты — это штаны такие короткие, их с чулками носят. А санкюлоты — это бесштанники, городская беднота. Именно они и штурмовали Бастилию.

— Я одного не пойму, Аська, — удивился Костя. — Как при таких знаниях ты умудряешься иметь удочку³ по истории?

— Какая разница, — отмахнулась Ася. — В институт я не собираюсь, я портнихой буду.

— Так тебя родители и пустят в портнихи.

— Во-первых, в шестнадцать лет я могу и не спрашивать. А во-вторых, у нас все профессии важны, забыл? Портниха — рабочий класс, я буду гегемоном. Между прочим, гегемон — знаешь, что такое?

Костя засмеялся, Ася бросила в него солдатиком. Обижалась она редко, никогда не интриговала и не кокетничала, как другие знакомые девчонки, но под настроение могла отбрить довольно жестко. При всем интересе к нарядам, прическам, манерам, в ней было много мальчишеского, простого и открытого, с ней было легко, как ни с кем другим. Среда была радостью, отменить ее могла только серьезная болезнь, с обычной простудой Костя все равно бежал к Болотиным, благо бежать было недалеко.

Но после Нового года он решил не ходить. Многое он мог простить ей, почти все, но не это, не обвинение в предательстве. Дома никогда не говорили о том, что происходит вокруг, словно не было ни черных машин-воронков, в зловещем ожидании стоящих под окнами, ни людей, исчезающих по ночам, ни бесконечных судебных процессов, ни еще более бесконечных митингов и собраний с требованием заклеить, осудить, расстрелять. За последний год из класса исчезло двое ребят, у троих забрали отцов, а у лучшего друга Кости, Юрки Розина, сначала забрали отца, директора завода, а потом и мать.

Два дня Юрка не приходил в школу, по классу поползли слухи, и Костя сразу после уроков отправился к нему, уверенный, что все это сплетни и вранье. Враги были где-то там, далеко, на процессах, это были бледные, мрачные, мятые люди, неразборчиво или, наоборот, слишком четко читавшие по бумажке свои страшные признания. Юркин отец, крупный, сильный, веселый человек, любитель волейбола, шахмат и украинских песен, никак не мог быть одним из них, и Костя бежал к другу без раздумий и опасений. Открыл ему Юрка, молча посторонился, пропуская в комнату. По разоренной, опустошенной квартире серым печальным привидением бродила Юркина мать, то поднимая с пола какие-то книги и бумаги, то бессильно выпуская их из рук. За ней ходила хвостом маленькая Юркина сестра, дергая ее за рукав и монотонно повторяя: «Мамочка, не плачь, мамочка, не плачь». Дверь в одну из комнат была закрыта и заклеена бумажной лентой. Юрка провел Костю на кухню, не прячась, закурил в форточку.

— Это ошибка, — неуверенно сказал Костя. — Это точно ошибка.

Не глядя на Костю, Юрка пожал плечами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru